

гряды, очертания которого поражают своим сходством с профилем поэта. Что это – мистический знак того, что отныне этот край навечно принадлежит поэту? А может быть, это его сбывшиеся стихи?

Земли отверженной застывшие усилья.
Уста Праматери, которым слова нет!

И гигантский профиль Волошина, устремившего взор туда, где смыкаются небо и море, и его могила на противоположной стороне залива хорошо просматриваются с вышки Дома Поэта. На месте упокоения Волошина виднеется дерево, маслина, ствол и ветви которого напоминают крест. Дерево это никто не сажал...

ВЕСЬ ТРЕПЕТ ЖИЗНИ ВСЕХ ВЕКОВ И РАС...

Жизнь – бесконечное познание...
Возьми свой посох и иди!
...И я иду... и впереди
Пустыня... ночь... и звёзд мерцанье.

Жизнь – бесконечное познание...

...Не я ли
В долгих планетных кругах
Создал тебя?
Ты летопись мира,
Таинственный свиток,
Иероглиф мироздания,
Преображение погибших вселенных...

Я люблю тебя, тело моё...

«Человек – это книга, в которую записана история мира», – вспомним ещё раз эту запись из дневника Максимилиана Волошина за 1907 год. «Весь трепет жизни всех веков и рас / Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас», – вторит он себе двадцать лет спустя в итоговом стихотворении «Дом Поэта». Не станем забывать, что читает эту книгу поэт, чей «дух древнее, чем земля и звёзды», потому и проникает его мысль сквозь толщу времён, познавая «иных миров в себе напомниманья».

«Великий пафос лирики завещан» нам Волошиным, и завещание это безгранично. Лирическое «я» поэта включает в себя образы-символы из самых разных сфер – литературы, искусства, мифологии, религии. Это и Вечный Жид, и Иисус Христос, и штейнеровский «Солнечный дух», и космический первочеловек Адам Кадмон, и Кентавр, и Эдип, и Зевс, и Орфей, и множество персонажей-демонов, вроде Дмитрия-императора, Стеньки Разина или протопопа Аввакума.

«Орфеем, способным одушевить и камни», назвал хозяина Коктебеля Андрей Белый. С мифом об Орфее – об обречённости любви – соотносил Волошин трагическую участь поэта. Не забывал он и о великом посвящённом Древней Греции, придавшем могущество солнечному культу Аполлона Орфее (Орфей – «исцеляющий светом»), первосвященнике и царе, с именем которого связана целая система религиозно-философских взглядов (орфизм).

Эта светлая аллея

В старом парке – по горе,
Где проходит тень Орфея
Молчаливо на заре...

Всё смешалось. Мы приидем
Снова в мир, чтоб видеть сны.
И становится невидим
Бог рассветной тишины.

(«Эта светлая аллея...», 1905)

В этих стихах слышатся отголоски орфического учения о переселении душ, заимствованного сектой орфиков у фракийцев и перешедшего к пифагорейцам, а много веков спустя – в современные Волошину оккультные учения. Орфики воспринимали тело как «темницу» или «могилу души», а идеал видели в блаженном бессмертии или бестелесном бытии души. Однако вырваться из телесной тюрьмы, полагали они, невозможно, ибо после смерти душа попадает в новое тело, то есть в новую тюрьму, причём, как и в индусском учении о карме, в новой телесной жизни получает возмездие за прегрешения жизни прошлой. Как знать, может быть, это прямо или косвенно отражено в IX сонете «Corona Astralis», посвящённом

Тому, кто в тьму был Солнцем ввергнут в гнев,
Кто стал слепым игралищем судеб,
Тому, кто жив и брошен в тёмный склеп.

Но не будем привязывать стихи к закаменелым учениям... Хотя, думается, Волошину было близко то, что отличало учение орфиков от индусов: идеал бытия души после «спасения» от круговорота рождений – не в «потухании» её в нирване, а в её блаженном индивидуальном бессмертии в божественном небесном мире, там, где

Вечность с жгучей пустотою
Неразгаданных чудес
Скрыта близкой синевою
Примирающих небес...

(«По ночам, когда в тумане...», 1903)

Но если у индусов и орфиков переселение душ есть зло бесконечно длительной привязанности души к земле и телу, а спасение – в окончательном отрыве от телесного мира, то у Волошина нет этого отвержения телесности даже во имя тяготения души к Богу:

Плоть моя осмуглела,
Стан мой крепок и туг,
По том горького тела
Влажны мускулы рук...

(«Я, полуднем объятый...», 1910)

В поэзии Волошина нет страха перед инобытием. Точнее, в ранних стихах ощущается ужас перед вселенной, перед космосом («Но ужас звёзд от знания не потух...»), предчувствие, что «И труп Луны, и мёртвый лик Сатурна – / Запомнит мозг и сердце затаит...». Однако сложившийся (не без влияния Штейнера) взгляд поэта на человеческую жизнь как на бытие, растворённое в космическом времени и лишь на мгновение воплощённое в земной оболочке, лишён трагичности. Не муки испытывает душа в своих странствиях, а видит сны, хоть и томится памятью. Подобно тому, как воплощается душа

человека, неоднократно меняя земные оболочки, так же и душа истории постоянно возрождается, меняя свои временные, национальные рамки.

«Вся Россия делится на сны...» – писал, тоскуя о родине, В. Набоков в 1926 году. У Волошина на сны делятся вся земная жизнь человека и мировая история. И это, может быть, закономерно для поэта Киммерии. Ведь, согласно «Метаморфозам» Овидия, божество сна – Гипнос обитал в киммерийской пещере, из недр которой вытекал родник забвения, дающий начало Лете. Свою же миссию Волошин видел в прочтении этих снов. Откроем записи в «Истории моей души», сделанные 26 сентября 1907 года: «Если судьба привяжет к России, я буду в глубине своей комнаты добросовестным историографом людей и разговоров, а на площадях газет – толкователем снов, виденных поэтами. Быть толкователем снов и добросовестно записывать свои сны, виденные на лицах современников, – вот моя миссия в России». Миссия оставалась неизменной, однако со временем меняется ракурс мировосприятия.

Космический ужас, «внежизненные обиды», возможно, через личное восприятие Христа, через «жажду оцета»¹⁷ переводятся в земную плоскость. «Зрачки чужих, всегда враждебных глаз», направленных со всех сторон на поэта, становятся реальностью (знаменем истории, если угодно), а его путь «в пространствах вечной тьмы» космоса оказывается блужданием «в лесу противочувств, / Среди чёрных пламеней, среди пожарищ мира»...

Что же касается затронутой выше темы, то она с творческой зрелостью поэта претерпевает существенные изменения – от антропософского «Солнечного духа», свершившего на земле «мистерию Голгофы», Волошин идёт к восприятию православного Образа, как правило, открыто не называемого. Правда, христианство Волошина, отчётливо обозначившееся в его творчестве в последние полтора-два десятилетия жизни, в значительной степени основывалось на софиологии Владимира Соловьёва, было связано с его трактовкой человека как связующего звена между природным и божественным мирами (у Волошина: каждый «есть пленный ангел в дьявольской личине»). Конечно, ощущается здесь и влияние Достоевского, о чём неоднократно уже говорилось.

Своеобразную точку зрения высказывает на этот счёт Э. М. Розенталь («Знаки и возглавья»): «Макс ищет ответ не у позднего Достоевского, пришедшего после долгих сомнений и колебаний к Богочеловеку, а у Достоевского, ещё раздираемого сомнениями и пытающегося отыскать будущее человечества в действиях самих людей, которых, правда, ещё никто не встречал...»

Волошин до конца жизни использовал религиозно-философский опыт Вл. Соловьёва, а также Достоевского, которого постоянно перечитывал, что в итоге выразилось в соотношении соловьёвской Софии-Премудрости Божией с ликом Владимирской Богоматери. Н. А. Бердяев писал: «Вл. Соловьёв всегда понимал христианство не только как данность, но и как задание, обращённое к человеческой свободе и активности... дело Христово в мире есть прежде всего организованная любовь. И дела любви по соловьёвскому сознанию нужны не для оправдания, как то обнаруживалось в западных спорах об оправдании делами и верой, а для осуществления Царства Божьего». Мысль Соловьёва – «Человечество должно не только принимать благодать и истину, данную во Христе, но и осуществлять эту благодать и истину в своей собственной и исторической жизни» – была для Волошина откровением и руководством к действию: «во все периоды в центре стоял для него вопрос об активном выражении человеческого начала в Богочеловечестве».

Максимилиан Волошин являет собой редчайший пример житнетворчества: основа жизни и линия поэзии сливаются у него в одно целое, и целое это – подвиг христианской любви к людям, к России.

¹⁷ Оцет – уксус, которым была смочена губка, подносимая стражниками к запёкшимся устам распятого Иисуса Христа. – Ред.

Воспринимая «пути России» с позиции телеологии (высшей, космической цели), поэт вместе с тем далёк от наивного (простодушного) оптимизма. Предпоследнее четверостишие стихотворения «Северовосток» звучит так:

Сотни лет навстречу всем ветрам
Мы идём по ледяным пустыням –
Не дойдём и в снежной вьюге сгинем
Иль найдём поруганный наш храм...

«Сгинем» или «найдем»... Одно из последних произведений Волошина – «Владимирская Богоматерь» – содержит в себе то же «расщепление» судьбы. Поэту видятся

Два ключа: золотой в Её обитель,
Ржавый – к нашей горестной судьбе.

А двумя десятилетиями раньше у Волошина родилась одна из самых загадочных строк: «Явь наших снов земля не истребит...», что может породить различные толкования, но можно принять и такое: живя на земле, овеянной поэзией мифов, Волошин не мог не выразить в своих стихах глубинную суть античной трагедии – все события в конечном итоге ведут к восстановлению изначальной гармонии, «цельности».

И ещё одна мысль, касающаяся сновидений. Как известно, и в Библии, и в древнерусском эпосе много говорится о снах, как о временном «небытии» (смерти); проснувшись, герой воскресает, подобно Лазарю, обновлённый и преображённый пророческой вестью...

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

«Русский сон под чуждыми нам именами», которым «грезит» сейчас и которым «грезила» тогда Россия, возможно, обернётся, если прислушаться к Волошину, духовным очищением, обретением «поруганного храма» и воскресением, о чём, в сущности, пророчествовал и поэт:

Не жизнь и смерть, но смерть и воскресенье –
Творящий ритм мятежного огня.

...Разговор о творчестве Максимилиана Волошина никогда не придёт «к конечному пределу». Невольно вспоминаются слова самого поэта: «...Продлённый миг / Есть ложь... / И беден мой язык», да и высказывание Марины Цветаевой: «Макс сам был... тайна...»

И всё же рискнём «подвести итоги».

Максимилиан Волошин вошёл в историю русской культуры как «гений места», «хранитель Коктебеля и Карадага», строитель и хозяин Дома Поэта. Он уникален своей творческой широтой, способностью совмещать эзотерические откровения с научно-публицистическим пафосом и героико-философским эпосом. В историко-литературном обиходе давно закрепилось мнение, что Волошин – единственный поэт-летописец своей эпохи.

Его стихи о России запрещались в России как при добровольцах, так и при большевиках. Стихотворение «Русская революция» вызывало восхищение у таких полярных людей, как Пуришкевич и Троцкий. В 1919 году красные и белые, беря по очереди Одессу, начинали свои воззвания одними и теми же словами из волошинского «Брестского мира». Первое издание «Демонов глухонемых» было распространено большевистским Центагом, а к выпуску второго – приступал добровольческий Осваг.

Поэт вспоминал, что «в моменты высшего разлада» ему «удавалось, говоря о самом

спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что её принимали и те и другие. Поэтому же, собранные в книгу, эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой», поскольку ни та ни другая не могли принять его главный принцип: «Человек... важнее его убеждений. Поэтому единственная форма активной деятельности, которую я себе позволял, – это мешать людям расстреливать друг друга». Да и собственная его жизнь могла оборваться в любую минуту. «Кто меня раньше повесит – красные за то, что я белый, или белые за то, что я красный?..» – писал он в августе 1921-го А. М. Петровой.

В последние годы жизни Волошина и в последующие пять-шесть десятилетий его стихи распространялись «тайно и украдкой» в тысячах экземпляров. Сегодня его книги – на полках наших библиотек; сбылось то, о чём писал поэт, обращаясь к Е. И. Дмитриевой, а возможно – к любому своему будущему читателю:

Меня отныне можно в час тревоги
Перелистать,
Но сохранят всегда твои дороги
Мою печать...

ЯВЬ НАШИХ СНОВ... ЭПИЛОГ

На дне души гудит подводный Китеж –
Наш неосуществимый сон!

Китеж

На четырёхугольной вышке Дома Поэта всё так же стоит его хозяин, вглядываясь в звёздную даль, в чернеющее перед ним море... Откуда-то с прибрежной полосы, или это только чудится, доносятся обрывки разговора:

– Когда мы жили в Севастополе... я помню деревья... Они росли сквозь дома. Мама, почему деревья растут сквозь дома?

– Это бывает после войны, когда дома разрушены.

– А отчего бывают войны?

– Оттого, что злые духи распоряжаются поведением людей.

– А богатырь может победить злых духов?

– Конечно, Макс.

– А тот, кто пишет сказки, поэт, он может?

– Он тем более...

– Господи, я так хочу стать поэтом, помоги мне!

...А на вышке уже собрались «обормоты». Заразительно смеются Марина Цветаева и Сергей Эфрон, о чём-то горячо спорят Алексей Толстой и Мандельштам, дружески беседуют Николай Гумилёв и Лиля Дмитриева, командарм Кожевников, в форме почтового чиновника, что-то доказывает Казику Добраницкому; присутствуют и никогда ранее здесь не бывавшие Сергей Маковский и Константин Бальмонт. Но нет среди них Макса...

А вдалеке завиднелась направляющаяся к ним «по лону вод» фигура в чём-то белом. Пышные волосы, борода, на лбу – венчик. Возможно, это «гений места» и «устроитель судеб» Коктебеля... Может быть, Одиссей, только что покинувший «смолёную ахейскую ладью»... Или... Видение исчезло. Да и было ли?..

Откуда-то издали нарастает колокольный звон, всё преображается. И уже трудно различить – морская ли гладь простирается перед глазами коктебельских гостей или это таинственное озеро Светлояр раскинуло свои воды... Заворожённо и благоговейно